

Перед Зеркалом

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Я, я, я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот—это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть,
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем—так и всегда на середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины—к причине,
А глядишь—заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Виргилия нет за плечами,—
Только есть одиночество—в раме
Говорящего правду стекла.

Before the Mirror

Nel mezzo del cammin di nostra vita

I, I, I. What a ridiculous word!
Is that character there I?
Can mother really have loved such a person,
Yellow-grey, with greying hair,
And worldly-wise as a serpent?

Can the boy who at Ostankino each summer
Used to dance at country balls be I,
Who with every one of his replies
Inspires in the younger poets
Loathing, malice and fear?

Can the lad who would throw into midnight arguments
All his youthful agility be I,
The very same who has learned,
When faced with tragic discussions,
To be reticent and make jokes?

However, that is always how things are
Midway along life's fateful journey:
You move from one worthless cause to another
Until you notice you've faltered into a wilderness
And can't even find your own footprints.

So, there was no leaping panther
To chase me home to my Parisian garret.
And no Virgil stands by my shoulder—
There is only solitude, and inside the frame
The truth-telling glass.

Вечер

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи, какая боль!

Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд,
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?

И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.

Evening

It is crisp and slippery underfoot.
Wind has been blowing and snow falling.
My God, what sadness!
Lord, what desolation!

How wretched is Your sub-lunar world
And how uncharitable You are;
To what purpose this great expanse
If light illumines death?

Nor is there anyone who might explain
Wherefore, in one's declining years,
The desire to wander yet more,
To believe, and to freeze, and to sing.

Берлинское

Что ж? От озноба и простуды—
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом—

Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.

И там, скользя в ночную гнилость,
На толще чуждого стекла
В вагонных окнах отразилась
Поверхность моего стола,—

И проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

In Berlin

What, then? For colds and chills
There's hot grog or cognac.
There's music here, and the chime of dishes,
And a mauve half-light.

And there, through the huge, thick
Polished windowpane,
As though in a dark aquarium,
A sky-blue aquarium,

Many-eyed trams
Swim between submarine lindens,
Like electrified shoals
Of fluorescent, sluggish fish.

And there, slipping into the night's dampness,
Reflected in the stout, foreign glass
Of the carriages' windows,
Is the surface of my table—

And steeped in this alien life,
I suddenly recognise with revulsion,
My own disembodied, lifeless
Nocturnal head.

(Translated from the Russian by David Butler)